УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/68/11

Э.М. Жилякова, К.К. Павлович

А.В. НИКИТЕНКО – ЧИТАТЕЛЬ И КРИТИК РОМАНА И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ»¹

Исследуется рецепция А.В. Никитенко романа И.А. Гончарова «Обломов» по материалам хранящегося в Научной библиотеке Томского университета книжного собрания профессора. Анализируются читательские пометы владельца на первом издании гончаровского текста, который был подарен ему лично автором. Рассматривается вопрос о специфике восприятия А.В. Никитенко художественного таланта И.А. Гончарова и трактовки образа Обломова с учетом категории синтеза, унаследованного русским писателем от Н.И. Надеждина.

Ключевые слова: А.В. Никитенко, И.А. Гончаров, «Обломов», личная библиотека, Н.И. Надеждин, синтез.

Имя А.В. Никитенко в истории становления и развития русской эстетико-философской и критической мысли первой половины XIX в. занимает особое место, а ярким репрезентантом творческой и профессиональной деятельности профессора является его личная книжная коллекция [1], хранящаяся в отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета. В этом собрании, насчитывающем более 1,5 тыс. названий в 2,5 тыс. томах, предсказуемо доминируют издания по литературе и словесности. Особенная гордость профессорской библиотеки — «первые и прижизненные издания сочинений писателей, составивших цвет русской литературы XIX в.» [2. С. 24].

Широко развернувшаяся в 1830—1840-е гг. теоретико-критическая деятельность Никитенко была тесным образом связанна с фигурами В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. В середине века она приобрела характер целостной системы, в основание которой легла концепция эстетического синтеза — «поэтического реализма». Суть этой идеи находит рефлексивное отражение на страницах пристально изучаемых Никитенко книг, среди которых оказываются и произведения И.А. Гончарова, в частности роман «Обломов» (1859 г., в 2 ч.) с дарственной надписью на форзаце первого тома: «Любезнейшему другу Александру Васильевичу Никитенко в знак чувств от автора. 15 октября 1859» [3].

История тесных и дружеских личных взаимоотношений Никитенко и Гончарова берет свое начало именно в 1850-е гг. В 1854 г. писатель преподносит уже именитому профессору отдельный оттиск главы «Манила»

 $^{^{1}}$ «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00443 «Личная библиотека А.В. Никитенко как "летопись русской литературы"».

из книги «Фрегат "Паллада"», сопровождая свой дар словами: «Александру Васильевичу Никитенко от путешественника» [3. № 150515]. В течение последующих четырех лет точно таким же образом в библиотеке Никитенко окажутся сначала еще одна глава — «На Мысе Доброй Надежды» (1856) [Там же. № 23747], а затем полное отдельное издание путевых очерков (1858) [Там же. № 29491]. Примерно в это же время в дневнике профессора появляется первое упоминание имени Гончарова (запись от 24 ноября 1855 г.). Дополняет эту картину самое раннее из известных писем писателя: 2 февраля 1856 г. он приглашает «почтеннейшего друга Александра Васильевича» вместе отобедать «в кругу добрых приятелей Тургенева, Боткина, Майковых, Краевского etc. etc.» [4].

Впервые с романом «Обломов» Никитенко познакомился за год до начала его публикации. Произошло это во время одного из авторских чтений в обществе близких людей. В дневниковой записи от 10 сентября 1858 г. он замечает: «Вечером у Гончарова слушал новый роман его "Обломов". Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много такого еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического одушевления, много ума и тщательной, умной обработки. Оно совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести» [5. С. 34]. Критик не случайно отмечает особую индивидуальность гончаровского романа в общем потоке современной литературы, находя в нем отклик на собственные представления о содержательных основах произведения словесного искусства, которые в противовес последователям «натуральной школы» виделись им в гармоничном сочетании изображения отрицательных сторон действительности с поэтизацией положительного начала («поэтического одушевления»).

Самая первая помета Никитенко на страницах «Обломова» связана с номинацией главного героя: проявляя интерес к этому образу, он заштриховывает его имя и отчество голубым карандашом. Однако пристальным вниманием читателя отмечена другая часть романа — знаменитая девятая глава «Сон Обломова», напечатанная в 1849 г. в «Современнике». Этот текст является идейным объяснением всего произведения, он сосредоточивает в себе суть национальных и общечеловеческих представлений писателя. В «Сне Обломова», где возвышенная романтическая фигура главного героя соотносится с реальностью жизни, в полной мере проявилась концепция творческого синтеза, воспринятая Гончаровым от профессора Н.И. Надеждина в годы учебы в Московском университете (1831–1834).

Надеждин и Никитенко, родившиеся в одном и том же 1804 г., возросшие на наследии русской и немецкой романтической эстетики, почти одновременно выступили с программными речами о художественной манере (в широком смысле) в современном искусстве 1. Оба они занимали диалек-

 $^{^1}$ В 1833 г. Никитенко была опубликована «Вступительная лекция российской словесности о происхождении и духе литературы», прочитанная им годом ранее в Санкт-

тичную, сложную позицию в отношении реалистического метода и в поисках совершенной художественной формы развивали идею синтеза.

Надеждин в своих трудах говорил об особом «поэтическом духе», который слагается из двух разных стихий — классической (натуральной) и романтической: «...что же должно оставаться для гения? Соединить идеально одушевление средних веков с изящным благообразием классической древности, уравновесить душу с телом, идею с формами, просветить мрачную глубину Шекспира лучезарным изяществом Гомера!» [6. С. 50]; «Это должно быть внутреннее, живое слияние общих полюсов бытия, общих элементов творчества!» [Там же. С. 51].

Никитенко выстраивал свою эстетическую систему в тех же, идущих от Фр. Шеллинга, координатах: от начала развития человека, через эпическое к роману, в конечном итоге — к синтезу идеального и реального. В его теоретической работе, зревшей и складывавшейся на протяжении долгих лет преподавания в университете, — «Мысли о реализме» (1872) изложена позиция по отношению к идеализму и реализму в художественной литературе. Никитенко называет «синтетический» принцип предельно адекватным для современной литературной ситуации, считая его «разумным реализмом»: «В разумном реализме нет ничего такого, что исключало бы идеализацию, и в разумной идеализации нет ничего противоречащего разумному реализму» [7. С. 37]. Категория синтеза в его понимании оказывается родственной многомерности жизненной правды.

Заявленная Надеждиным необходимость «уравновешивания» и «соединения» была усвоена и развита Гончаровым в качестве закона, требовавшего всеобщего и взаимного проникновения классического и романтического как непременного условия художественности. Писатель воспринял эти категории не как стилевой прием, сочетающий разнородное, а как идейно-художественную систему. Главное же отличие представлений Надеждина и Гончарова состояло в том, что синтез в понимании первого был прежде всего связан с категорией «чистой» эстетики. У писателя же на первом месте всегда стояла «одушевленная» поэзией действительность, а внутренний импульс к осмыслению мира как гармонии оказывается возможен посредством живописания — пластичного, колоритного, многогранного.

Вся трилогия Гончарова, а также и книга «Фрегат "Паллада"» демонстрируют двойственную позицию писателя в вопросах о романтизме. Он активно использует соответствующие образы, мотивы, штампы, создает портреты и пейзажи в духе высокого и чувственно-возвышенного, но при этом ведет активную полемику с поэтом-романтиком В.Г. Бенедиктовым (в третьей главе путевых очерков). Положительный метод искусства для пи-

Петербургском университете. Практически одновременно на торжественном собрании Московского университета Надеждин произносит «Слово о современном направлении изящных искусств». Этот текст в отдельном издании 1833 г. с пометами Никитенко сохранился в его библиотеке [3. № 322110].

сателя связан с уравновешиванием двух крайностей классического и романтического мировидения.

В упомянутой статье «Мысли о реализме» Никитенко в качестве достоинства Гончарова закономерно отмечает «чувство меры», понимаемое как свобода от утрирований и прикрас: «Его отличает, между прочим, весьма важное качество — особенный такт и знание меры, которые должны были бы предохранять его от всякой крайности, если бы он оставался им верен. Он не предубежденно, но тенденциозно смотрит на природу, на человека, на своё общество, и эта художественная правота и бесстрастие спасали его долго от преувеличений того, что в природе может показаться не прекрасным, а в людях постыдным...» [7. С. 47–48].

Пометы Никитенко на романе «Обломов», таким образом, дают представление о его эстетической критике и одновременно оттеняют наиболее характерные черты художественной манеры Гончарова. Центральная тема его рецепции — пути развития человеческого духа и судьба современного романного героя.

В названной выше речи «О происхождении и духе литературы» Никитенко исходит из того, что именно в слове аккумулируются все нравственные начала. Он представляет язык как мерило и выразитель духовного, однако, по его мысли, полнота этического может быть проявлена только в литературе, «ибо бытие её определяется особенным, положительным воззрением на человека» [8. С. 13–14]. Основы историософской концепции Никитенко, как и Гончарова, связаны с едиными истоками всего живого сообщества: «Каждый народ есть чадо одного и того же человечества» [Там же. С. 14].

По логике Никитенко, любой народ должен существовать «совокупною деятельностью всех своих способностей» [Там же. С. 16], и тогда в результате этого «гармонического» синтеза возникает «образованность», которая представляется «особенной ветвью» литературы. Пересекаясь с Надеждиным, сделавшим народность одним из главных компонентов своей эстетической системы, он детство называет временем раннего развития человечества, которое характеризуется расцветом эпопейного периода и выражает «жизнь целого». Тема детства, к которой и приковано его читательское внимание на «Обломове», соотносится с историософской концепцией возрастов наций. Не случайно в статье Надеждина «О современном направлении изящных искусств» Никитенко отчеркивает текст, посвященный анализу этого этапа в жизни человечества: «То был период совокупного, неразделенного кипения всех элементов, из коих слагается целость нашей человеческой природы! Тогда всё поглощалось чувством: и потому всё было одушевленное, восторг, религия! <...> Сия гражданственность кристаллизовалась в очарованных иерархических формах; сие просвещение расцвечивалось пестрыми фантастическими мечтами <...> изящная творческая деятельность во времена первобытного младенчества отличалась стремлением к безусловному, неограниченному проявлению своей внутренней полноты, в её нераздельной, всеобъемлющей целостности» [9. С. 28].

Судьба современного героя – «чада Природы» – для Никитенко связана с представлением эпического (Эпопеи) в современности. Именно в ней решается проблема человеческой судьбы. Эпопея понимается им в искусстве как состояние духа, существование целого, выражающее «полноту жизни» [8. С. 30], что напрямую соотносится с художественной концепцией «Обломова». Эпопея как мировоззренческая форма, одна из сторон человеческого духа видится Никитенко «обширным, чудесным зрелищем», в котором миры «в величественной стройности текут по предписанным им путям» [Там же. С. 34].

«Сон Обломова» предстал перед Никитенко уникальным по форме и содержанию материалом, на анализе которого он мог развернуть проблему детства как философскую, эстетическую и художественную. В качестве читателя он отмечает размеренный образ жизни обломовцев, их идиллическое существование, служащее проявлением эпического бытия. Характерно, что сам Гончаров в «Сне Обломова» указывает на создаваемый героями образ «блистательной эпопеи»:

«Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистаемельной эпопеи (курсив наш. — Э.Ж., К.П.). Те сулят ему золотые горы» [10. С. 114].

В своей вступительной лекции 1832 г. Никитенко отмечает, что человек в эпопее находится в гармонии со своим внутренним и окружающим миром, где «в чудном движении, все нервы Природы напряжены, всё исполнено сил, <...> повсюду такая грозная и мёртвая тишина: нет жизни!» [8. С. 35]. Эту же «торжественную тишину природы» он отчёркивает в описании обломовской жизни:

Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, те минуты, когда сильнее работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живее вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли, и когда в Обломовке все почивают так крепко и покойно [10. С. 115].

Никитенко отмечает стихийность пробуждающихся чувств, желаний, страхов, характерных для сознания детства – как в судьбе конкретного человека, так и всего человеческого рода:

поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим

¹ Здесь и далее курсивом переданы подчеркивания и отчеркивания Никитенко, сделанные им в тексте романа «Обломов» во время чтения. Для отражения двойного выделения (на полях и внутри текста) дополнительно применяется подчеркивание. Курсив авторский оговаривается особо.

прибавлением; с наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву, и мучителя.

Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька.

Он выбежит и за ворота: ему бы хотелось в березняк; он так близко кажется ему, что вот он в пять минут добрался бы до него, не кругом, по дороге, а прямо, через канаву, плетни и ямы; но он боится: там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери.

Хочется ему и в овраг сбегать: он всего саженях в пятидесяти от сада; ребенок уж прибегал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана... но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге: его объял ужас, и он, ни жив ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху.

Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях [10. С. 113].

Образ эпически покойного мира находит у Гончарова сравнение с природой, которое Никитенко также отмечает: «жизнь как покойная река текла мимо них» [Там же. С. 122]. Важным аспектом его философии является положение о национальной сущности выражения «детства». Его проявление Никитенко усматривал в «усилиях исторического быта людей», в форме «местных <...> и временных мнений, чувствований, характера и преданий. Это почва, на которой произрастает эдемский цвет чистейшей идеальной жизни» [8. С. 25]. Развитие своей идеи он находит у Гончарова, его внимание привлекают эпизоды «обломовского рая» в духе народной идиллии, с её естественностью и цельностью:

...где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать [8. С. 116].

Далее Никитенко закономерно делает пометы в тексте, описывающем «уроки» няни Обломова, благодаря которым герой погружался в сказочный мир народных представлений:

Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, *тихого, безобидного*, другими словами, *какого-нибудь лентяя*, которого все обижают, да и осыпает его, ни с того ни с сего, разным добром, а он знай *кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице*, Милитрисе Кирбитьевне. *Ребенок, навострив уши и глаза*,

страстно впивался в рассказ. Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались у него в рабстве до старости. <...> сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка [10].

В той же «фольклорной» логике чтения простым карандашом на полях он выделяет большой отрывок, заключающий в себе эпическую картину легендарно-героической стихии национального бытия:

Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, о Полканебогатыре, о Колечище прохожем, о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурманов, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет; потом говорила о злых разбойниках, о спящих царевнах, окаменелых городах и людях; наконец переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и к оборотням.

Она с простотою и добродушием Гомера, с тою же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим, и у Алеши Поповича искал защиты от окружающих его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса.

Страшна и неверна была жизнь тогдашнего человека; опасно было ему выйти за порог дома: его, того гляди, запорет зверь, зарежет разбойник, отнимет у него все злой татарин, или пропадет человек без вести, без всяких следов [Там же. С. 116–117].

В качестве важнейшего элемента поэтизации жизни деревенского захолустья Никитенко отмечает фламандский колорит авторских описаний. Так, он оставляет пометы на бытовых сценах романа, рисующих обыденное, вялое и неторопливое, но полное тихой внутренней жизни и собственной логики существование, которое складывается из деталей и подробностей:

Ребенок тут, подле маменьки: он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопытен кажется ему всякий сказанный ими вздор. После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой камешки в воду; другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление: пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту, и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево [Там же. С. 114].

В русле интереса к «фламандским» краскам гончаровской описательной манеры Никитенко дважды выделяет в тексте бытовые эпизоды с собаками:

Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего [10]. За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека [Там же. С. 141].

Связывая эпическое как проявление детства с идеальностью и целостностью, господством фантазии и воображения, Никитенко делает обильные подчеркивания текста на тех страницах романа, где названы впечатления ребенка от *«соблазнительных сказаний старины»* [Там же. С. 118] и где дана реакция на них чувствительной души. Все эти внутренние движения закладывают основу его будущего характера:

И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности *любит верить соблазнительным сказаниям старины*, и долго, может быть, еще не отрешиться ему от этой веры.

Слушая от няни сказки о нашем золотом руне — Жар-птице (курсив автора. — Э.Ж., К.П.), о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, — и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца < ... >.

Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах. <...> он испытывал мучительный, сладко болезненный процесс; нервы напрягались, как струны. <...> С трепетом и визгом бросался на руки к няне <...>.

Населилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, беду, все мечтает о той волшебной стране, где нет зла, хлопот печалей, где живет Милитриса Кирбитьевна, где, хорошо кормят и одевают даром... [Там же. С. 118–119].

Особое внимание, вслед за Гончаровым, Никитенко уделяет вере в чудесное остальных обломовцев:

Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми, и до конца жизни сохраняет свою власть < ... >.

Стук ставни и завывание ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в Крещенье не выйдет после десяти часов вечера один за ворота; всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового. В Обломовке верили всему: и оборотням, и мертвецам... [Там же. С. 119].

Эта склонность человека к ощущению чего-то неведомого и признанию его силы и права в своей судьбе, с одной стороны, становится источником удивительной фантазии — поэтического воображения, но, с другой — порождает страх перед действительной жизнью, который в дальнейшем перерастает в апатию и бездеятельность, что отмечает Никитенко:

¹ Это определение подчеркнуто Никитенко карандашом.

...но если пропадет самая вера в призраки, то останется какой-то осадок страха и безотчетной тоски.

Узнал Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть – едва знает, и на каждом шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски; смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером [10].

Таким образом, анализ обломовской эпопеи ведется Никитенко в двух направлениях. Во-первых, он останавливается на тех качествах, которые определяют глубинные национальные свойства героя — его поэтическую натуру, стремление к гармоническому восприятию жизни, сердечность, доброту, искренность. Воспоминание об Обломовке греет сердце героя в Петербурге — и профессор в процессе своего чтения не случайно оставляет вертикальную черту напротив абзаца о мечтаниях Обломова в кровати:

Он вдруг почувствовал смутное желание любви, тихого счастья, вдруг зажаждал полей своей родины, своего дома, жены и детей [Там же. С. 76].

Во-вторых, Никитенко подчеркивает, что эта же эпопейная среда становится тормозом развития личности, когда та вступает на «романный путь» освоения жизни. «Роман... - пишет профессор, - по значению своему противоположен Эпопее: деятельность человеческая может ещё иметь другое направление, не восходя до той высоты, на коей свобода одного соприкасается с целым порядком вещей. <...> Обнаружить жизнь, текущую в границах общественного порядка и разлетающуюся каплями среди многосложных, запутанных его пружин, подобно воде в мельничном колесе жизнь, которая напрягается и истощается по видам страстей, совершенно личных, порождаемых временем, местом и обстоятельствами, - одним словом, показать человека таким, каким представляется он нашему разуму в идее существа общежительного - вот предмет другой самостоятельной отрасли Эпической Поэзии – Романа» [8. С. 37–38]. Обломовский стиль, как всякий эпос, исключал «самого человека и его судьбу» во имя событий человечества. Никитенко подчеркивает эту важную мысль, высказанную Гончаровым по отношению к обломовцам:

Они с бьющимся от волнения сердцем ожидали обряда, пира, церемонии, а потом, окрестив, женив или похоронив человека, <u>забывали самого человека и его судьбу</u> и погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай — именины, свадьба и т. п. [10. С. 123].

В связи с вопросом романного содержания обломовской эпопеи Никитенко выдвигает в качестве актуальной проблему воспитания. Он подчеркивает авторские вопросы-рассуждения, развиваемые в романе и носящие нравственно-философский характер:

А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?

Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, даже не ходило, а только смотрело на все тем пристальным детским взглядом, которые взрослые называют тупым, оно уже видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим [10. С. 120].

Четырежды Никитенко выделяет крестиками на небольшом пространстве текста повторяющийся мотив пробуждения сознания в герое.

- **х** «Смотрит ребенок и наблюдает острым и переменчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро. Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка: неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу совей жизни по жизни, его окружающей» **х** [Там же. С. 109].
- **х** «А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом» **х** [Там же. С. 111].
 - **х** «А ребенок наблюдал да наблюдал» **х** [Там же. С. 112].
- \mathbf{x} «А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь» \mathbf{x} [Там же].

Но неоднократно его внимание обращается и на процесс торможения всех усилий маленького ребенка обломовской ленью:

Плохо верили обломовцы и душевным тревогам; не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то; боялись, как огня, увлечения страстей [Там же. С. 121].

Прежде не торопились объяснить ребенку значения жизни и приготовлять его к ней, как к чему-то мудреному и нешуточному [Там же. С. 122].

Никитенко аккуратно подчеркивает простым карандашом каждую строку абзаца о русской национальной особенности – барстве Обломова, о его бытовой беспомощности:

Захар, как бывало нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку [Там же. С. 140].

Следующий абзац отчеркнут Никитенко полностью — сначала простым черногрифельным карандашом, а затем выше появляются жирные линии зеленого цвета — скорее всего, этот фрагмент был прочитан им не один раз:

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание; уронит ли он

что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься, и переделать все самому, а тут вдруг отец и мать да три тетки в пять голосов и закричат: — Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас! И не удастся никак Илье Ильичу сделать чтонибудь самому [10].

Здесь Гончаровым описана одна из важных причин формирования «обломовского» характера: герою с детства было отказано в попытке совершить всякое действие, что позднее привело к апатическому образу жизни.

Примечательно выделение Никитенко двух отрывков, объединенных общностью нарисованной автором в деталях картины огромных природных возможностей ребенка, но разнящихся своей итоговой тональностью. Сначала он отчеркивает пробуждение и разлитие в маленьком герое его потенциальных сил, которыми он может распоряжаться уже от рождения:

А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый; он чувствует: в нем играет что-то, кипит, точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на савраску да поскакать в луга, где сено косят, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак; или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы. Бесенок так и подмывает его [Там же. С. 141].

А затем отмечает последние слова главы IX, звучащие печальным приговором несвершившихся возможностей:

х ...там напоили его мятой, там бузиной, к вечеру еще малиной, и продержали дня три в постели, а ему бы одно могло быть полезно: опять играть в снежки... [Там же. С. 142].

Жирными линиями вслед за курсивом автора он выделяет отражение неопределенности обломовского характера: *может быть*, *авось*, *какнибудь* – в этих словах Никитенко, как и Гончаров, видел проявление русского национального типа, воплощенного в образе героя.

Таким образом, проблема создания национального характера в эстетике Никитенко органично связана с проблемой романного героя. «Свобода героя Эпопеи, – пишет критик, – является в борении с судьбою, а героя Романа в борении со свободой подобных ему. В Эпопее герой, как представитель общества, увлекает его с собою, делая его участником своих злополучий и своих успехов; в Романе, напротив, общество увлекает героя, заставляет его страдать и представать не иначе как под влиянием духа, нравов» [8. С. 38]. Именно в романной форме, по мысли автора, и появляется категория «другого»: «...деятельность человека принимает вид борения с судьбой» [8], когда «...свобода одного соприкасается с целым порядком

вещей: ибо свобода сия находится в соприкосновении со свободою других» [Там же. С. 37].

Никитенко выделяет в структуре гончаровского текста места, связанные с выдвинутой им категорией «другого» как важного миромоделирующего принципа. Внутренние монологи Обломова во многом построены именно на сопоставлении себя с другими людьми: «Что ж это такое? А другой бы все это сделал? — мелькнуло у него в голове. — Другой, другой... Что же это такое другой?» [10. С. 95].

Начало следующего абзаца, продолжающего мысль героя о сути собственной натуры, подчеркнуто жирной чернильной линией: «Ведь и я мог бы всё это...» [Там же. С. 96]. Обломов сознательно отрицает мысль о том, что он не может принадлежать к «другим». Никитенко ставит крестик простым карандашом напротив абзаца, связанного с приходом Алексеева и содержащего знаменитое восклицание: х «Не подходите, не подходите; я вам не дам руки: вы с холода!» [Там же. С. 31], которое подтверждает его замкнутое существование.

«Другие» в романе противостоят Обломову. Так, рядом с ним существует его психологический двойник Захар, который мнимо пытается «разбудить» своего барина. В самом начале романа сделано диагональное отчеркивание фрагмента, в котором идет речь о том, как слуга не принимает образ жизни своего барина: «Что ж, хоть бы и уйти? – заметил Захар. – Отчего же и не отлучиться на целый день? Ведь нездорово сидеть дома. Вон вы какие нехорошие стали! Прежде вы были как огурчик, а теперь, как сидите, бог знает на что похожи. Походили бы по улицам, посмотрели бы на народ или на другое что ...» [Там же. С. 86].

Часть помет, оставленных Никитенко на страницах романа, касается образа Андрея Штольца — полной противоположности героя и важной составляющей для понимания русского национального типа в художественном видении Гончарова. Никитенко подчеркивает чернилами предложения, связанные с характеристикой практической направленности жизни Штольца, которой так недоставало Обломову: «... причину всякого страдания приписывал самому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь» [Там же. С. 161] и: «Простой, то есть прямой взгляд на жизнь — вот что было его постоянной задачей» [Там же. С. 162].

На следующих страницах столь же методично Никитенко выделяет оценки Гончарова, свидетельствующие о коренной противоположности Штольца и Обломова, воспитанного в атмосфере «блистательной эпопеи»:

Больше всего он <u>боялся воображения</u>, этого двуличного спутника, с дружеским на одной и вражеским на другой стороне лицом, друга — чем меньше веришь ему, и врага — когда уснешь доверчиво под его сладкий шепот.

Он боялся всякой мечты <...>.

Так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за *серо- цем*. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных отправлений была еще terra incognita <...>.

Он и среди увлечений чувствовал землю под ногой и довольно силы в себе, чтоб в случае крайности рвануться и быть свободным. <...> Все хотел видеть идеал бытия и стремлений человека в строгом понимании и отправлении жизни.

- <...> Выше всего он ставил настойчивость в достижении целей: это было признаком характера в его глазах, и людям с этой настойчивостью он нкогда не отказывал в уважении, как бы ни были важны их цели.
 - *Это люди!* говорил он [Там же. С. 162–164].

В связи с характеристикой Штольца, составляемой на основании отчеркиваний Никитенко в тексте Гончарова, интересен вопрос-сомнение (единственный) — напротив фразы: «...ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них» [Там же. С. 163].

Видимо, предпочтение «медленного и ровного горения», по мнению критика, стилистически вписывалось в жизнь обитателя Обломовки, а не делового жителя Петербурга.

Сравнивая противоположные характеры Штольца и Обломова, «в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца» [Там же. С. 164], Никитенко отчеркивает рассуждение Гончарова о будущем деятеле русской жизни, отвечающем потребностям нового времени и весьма похожем на делового приятеля главного героя: «Деятели издавна отливались у нас в пять, шесть стереотипных форм, лениво, вполглаза глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по обычной колее, ставя ногу в оставленный предшественниками след. Но вот глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» [Там же].

Художественный аспект этой проблемы связан с анализом образа Обломова, унаследовавшего эпический склад и проявившего как сильные качества, так и определенную слабость в эпоху, требующую дела и движения. Для Никитенко будущее России связано с героями типа Штольца, но его волнует судьба главного персонажа, сохранившего в себе исконные черты национального характера. Необычайно значима одинокая помета во втором томе — в признании Ольги, ставшем для критика — с горечью, но и любовью — утверждением значения Обломова в пространстве русской жизни: «Говорить с мужчиной, кроме Андрея Иваныча, мне было скучно, не о чем: я все думала, как бы остаться одной... А теперь... и молчать вовоем весело!» [Там же. С. 244].

В результате пометы Никитенко, сделанные в основном на страницах главы «Сон Обломова», раскрывают его концепцию «синтеза» в ее нравственно-философском и художественном смысле. Сосредоточенное чтение практически лишено внимания к решению социально-политических противоречий, однако оно все же имеет общественное содержание, поскольку вопросы взаимоотношения помещиков и их крестьян составляют основу обломовского типа жизни. Интерес Никитенко сосредоточен на проблемах эстетических и художественных, сквозь призму которых ставится также

проблема национального характера. Как философа-идеалиста его волнует изображение в романе эпического, понимаемого как эпопейный этап в жизни человечества и как основа, специфика русского характера. Подход к «Обломову» с эстетических позиций позволил критику увидеть своеобразие Гончарова (ср. уже цитированное выше: «...совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести») в гармоническом соединении «эпопейного» и «романного», сочетании критики с изображением идеала.

Литература

- 1. *Колосова Г.И.* Собрание книг А.В. Никитенко в фондах НБ ТГУ // Книга в России XVII начала XIX в.: Проблема создания и распространения : сб. науч. тр. Л., 1989. С. 27–33.
- 2. Гончарова Н.В. Библиотека А.В. Никитенко как репрезентант его творческой и профессиональной деятельности: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2017. 303 с.
 - 3. ОРКП НБ ТГУ. Инв. № 21841.
- 4. *Письма* И.А. Гончарова. URL: http://www.ivan-goncharov.ru/pisma/gon40.shtml (дата обращения: 22.05.2020).
 - Никитенко А.В. Записки и дневник : в 3 кн. М. : Захаров, 2005. Кн. 2. 608 с.
 - 6. Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М.: Худож. лит., 1972. 575 с.
- 7. *Никитенко А.В.* Мысли о реализме // Журнал министерства народного просвещения. 1872. Ч. 159. С. 1–56.
- 8. Никитенко А.В. О происхождении и духе литературы: Вступительная лекция российской словесности. СПб., 1833. 52 с.
 - 9. Надеждин Н.И. О современном направлении изящных искусств. М., 1833. 54 с.
- 10. Гончаров И.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. СПб. : Наука, 1998. Т. 4. 496 с.

Aleksandr Nikitenko as the Reader and Critic of Ivan Goncharov's Oblomov

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 68. 243–257. DOI: 10.17223/19986645/68/11

Emma M. Zhilyakova, Kristina K. Pavlovich, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: emmaluk@yandex.ru / pavlovitch.cristina@yandex.ru

Keywords: Aleksandr Nikitenko, Ivan Goncharov, *Oblomov*, personal library, Nikolai Nadezhdin, synthesis.

The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 20-012-00443.

The article discusses Aleksandr Nikitenko's new understanding of Ivan Goncharov's novel *Oblomov* (1859). The reception of the iconic text of Russian literature by Goncharov's contemporary is presented for the first time. It is done on the material of Nikitenko's personal book collection, which is stored in the Rare Books Department of the Research Library of Tomsk State University. The personal relationship between Nikitenko and Goncharov, which has not yet been a research object, provides valuable material for studying the historical and literary process of the mid-19th century and the aesthetic searches of the Russian writer Goncharov. Oblomov's Dream as an ideological explanation of Goncharov's vision of Oblomovism attracts the attention of Nikitenko as a reader. He made a huge number of notes in this fragment of the novel. Goncharov's aesthetics, based on the philosophical category of synthesis, the interdependence of romantic and realistic principles within the framework of

the literary text, was an important component of the aesthetic and historiosophical position of Nikitenko, who proclaimed these ideas. Nikitenko's notes demonstrate the reader's attention to the problem of "childhood" in philosophical and artistic terms, which is why marginalities associated with the folklore principle and the idyllic atmosphere in Oblomov's Dream are important. Reading *Oblomov*, Nikitenko pays close attention to the period of the early development of humankind, characterized by the flourishing of the epic. He, as a reader, is interested in the problems of the upbringing of a modern novel's hero, a Russian gentleman, who is surrounded by "others" (Stolz, Olga). Nikitenko's marginalia in Goncharov's novel indicate his interest in issues related to the national character. In the literary text, the idealist philosopher Nikitenko notes an epic component manifested in the image of Oblomov's life, a patriarchal one. In the artistic vision of the hero, Nikitenko notes a synthesis of criticism with the ideal. Thus, he reveals a dialectical position regarding the protagonist of the novel. Attention to the image of Stolz as the next stage of human development in its social manifestations and functions is presented in the form of pencil marks. However, judging by the last marks in the novel, it becomes obvious that heroes such as Oblomov, who are the essence of a national character, are not adapted to reality that requires an active hero, but at the same time they are the embodiment of the best features of the Russian national character.

References

- 1. Kolosova, G.I. (1989) Sobranie knig A.V. Nikitenko v fondakh NB TGU [Collection of books by A.V. Nikitenko in the funds of the Tomsk State University Research Library]. In: *Kniga v Rossii XVII nachala XIX v.: Problema sozdaniya i rasprostraneniya* [Book in Russia in the 17th early 19th centuries: The problem of creation and distribution]. Leningrad: BAN. pp. 27–33.
- 2. Goncharova, N.V. (2017) *Biblioteka A.V. Nikitenko kak reprezentant ego tvorcheskoy i professional noy deyatel nosti* [The book collection of A.V. Nikitenko as a representative of his creative and professional activities]. Philology Cand. Diss. Tomsk.
- 3. Department of Manuscripts and Book Monuments of the Tomsk State University Research Library. Inv. No. 21841.
- 4. Goncharov, I.A. (n.d.) *Pis'ma* [Letters]. [Online] Available from: http://www.ivan-goncharov.ru/pisma/gon40.shtml. (Accessed: 22.05.2020).
- 5. Nikitenko, A.V. (2005) *Zapiski i dnevnik: v 3 kn.* [Notes and Diary: in 3 vols]. Book 2. Moscow: Zakharov.
- 6. Nadezhdin, N.I. (1972) *Literaturnaya kritika. Estetika* [Literary Criticism. Aesthetics]. Moscow: Khudozh. lit.
- 7. Nikitenko, A.V. (1872) Mysli o realizme [Thoughts on realism]. *Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya*. CLIX. pp. 1–56.
- 8. Nikitenko, A.V. (1833) *O proiskhozhdenii i dukhe literatury. Vstupitel'naya lektsiya rossiyskoy slovesnosti* [On the origin and spirit of literature. Introductory lecture on Russian literature]. Saint Petersburg: tip. N. Grecha.
- 9. Nadezhdin, N.I. (1833) O sovremennom napravlenii izyashchnykh iskusstv [On the modern direction of fine arts]. Moscow: [s.n.].
- 10. Goncharov, I.A. (1998) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 20 t.* [Complete Works and Letters: In 20 Vols]. Vol. 4. Saint Petersburg: Nauka.